

Юрий Домб- ров- ский

Обезьяна приходит
за своим черепом

роман



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Д66

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Домбровский, Юрий Осипович.

Д66 Обезьяна приходит за своим черепом : [роман] / Юрий Домбровский. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2024. — 440, [8] с. — (Юрий Домбровский: проза).

ISBN 978-5-17-158812-0

Юрий Домбровский (1909–1978) — прозаик, поэт, “великий персонаж эпохи”, прошедший через несколько арестов и лагерей. Автор трех романов “Обезьяна приходит за своим черепом”, “Хранитель древностей” и “Факультет ненужных вещей”. Жан-Поль Сартр называл его “последним классиком XX века”.

Роман “Обезьяна приходит за своим черепом” Юрий Домбровский начал писать в 1943-м, в 1949-м текст вместе с его автором арестован, опубликован лишь после смерти Сталина. Место и время — некая европейская страна в предвоенные и послевоенные годы, охваченная фашизмом, где “все живое, разумное, мыслящее объявляется подлежащим уничтожению”. Ганс Мезонье, журналист, сын ученого-антрополога вслед за отцом пытается противостоять катастрофе, которая спустя несколько лет после Второй мировой может снова погрузить мир во тьму.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-158812-0

© Домбровский Ю. О., наследники
© Бондаренко А. Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”

Содержание

Пролог

9

Часть первая

73

Часть вторая

229

Часть третья

341

Эпилог

427

К. Ф. ТУРУМОВА-ДОМБРОВСКАЯ

Приключения “обезьяны”

441

*Любови Ильиничне Крутиковой
с уважением и благодарностью
посвящает эту книгу автор*

Пролог

Прежде чем приступить к подробному изложению всего того, что произошло со мной ровно пятнадцать лет назад, в дни оккупации, необходимо хотя бы в двух словах коснуться событий, побудивших меня взяться за перо. Но, во-первых, кто я такой? Меня зовут Ганс Мезонье, мне двадцать семь лет, два года тому назад я с медалью окончил Высшую школу юридических наук и до последней недели редактировал юридический отдел самой большой газеты нашего департамента. Формально редактором ее я состою и поныне — но об этом после. Каждый день в течение двух лет с двенадцати до четырех я сидел в кабинете, просматривая целые груды судебных фотографий, газетных вырезок, отчетов и полицейских протоколов, а раза три в месяц выступал с развернутыми статьями по тем или иным вопросам. Конечно, приходилось писать о всяком — мои милые соотечественники и современники падки на все необычайное и кровавое, все они любят загадочные преступления, невероятные убийства, взломы несгораемых шкафов, таинственные автомобили без номеров и фар и такие дела, как, скажем, отцеубийство или осквернение трупа, им только подавай.

Надо сказать, что на убийства нам везло. Не так давно было, например, такое: пятнадцатилетняя школьница через окно в сад застрелила отца, которого, кстати, очень любила. Застрелила она его ночью, когда он сидел за письменным столом, отослав спать всех домашних и нетерпеливо ожидая жену, отлучившуюся неизвестно куда и к кому, — впрочем,

он и дочка отлично знали, куда и к кому, — выстрел был произведен именно из пистолета любовника матери, офицера криминальной полиции. После убийства девочка подбросила две неиспользованные гильзы в корзину с грязным бельем, разделась, легла спать и была разбужена только полицией, уводившей ее мать. Был громкий процесс. Любовника и мать казнили, дочку, наследницу всего состояния, отдали под опеку бабушки. И вот, выждав с полгода, девочка явилась с повинной в полицейский-президиум и рассказала все. Это был сенсационный материал, и тираж нашей газеты в дни суда увеличился ровно вдвое. А девочка давала обширные интервью репортерам, фотографировалась и так и этак и раздавала автографы. Пришлось нанять специального человека, чтоб следить за всеми перипетиями процесса. Да и я не вылезал в те дни из суда ровно десять дней.

Еще лучше газета заработала на другом деле, облетевшем весь мир. В одной из великих держав, без всяких к тому доказательств, по оговору единственного свидетеля, к тому же самого арестованного и ждущего суда по этому же делу, приговорили к смерти двух супругов. Они обвинялись в шпионаже, во-первых, в передаче секретнейших военных документов иностранной державе, во-вторых, в тайных связях с Восточной Европой, в-третьих, и именно последний пункт и освещал все дело, темное и бездоказательное до чрезвычайности. Было совершенно ясно, что обвинительный акт — вульгарнейшая полицейская фальшивка, а приговор — расправа правительственных верхов с неудобными людьми, которым вдруг почему-то перестали доверять. В эти дни мы печатали материал, поступающий со всех сторон, гонясь только за количеством строк. Так я работал в течение двух лет, и все это оборвалось сразу.

Вот как это случилось.

Несколько дней тому назад, возвращаясь из редакции, я зашел в почтовую контору, на адрес которой получаю свою корреспонденцию вот уже в течение добрых пяти лет. Когда я вошел, девушка, сидящая на выдаче корреспонденции, крикнула мне из окошечка:

— Писем для месье сегодня нет, а вот, кажется, бандероль! — И нагнулась к ящику с бандеролями.

В это время из соседней комнаты ее позвали. Она радостно сказала:

— Одну минуточку! — Бросила на стол все, что было у нее в руках, и улетела.

В почтовой конторе почти никого не было, только посредине комнаты, за столом, забрызганным чернилами, сидел кудлатый старик в очках, читал какую-то бумажку и крупным каллиграфическим почерком, букву за буквой, надписывал конверт. В это время я почувствовал затылком, что на меня смотрят. Я обернулся. Спиной ко мне стоял возле двери бородатый господин в кожаной желтой куртке, смотрел на расписание воздушной линии Гельсингфорс — Женева — Неаполь — Александрия и что-то выписывал в блокнот. Но тут возвратилась раскрасневшаяся, сияющая девушка, сказала весело и сконфуженно: “Извините”, — и сразу же подала мне мою бандероль. Я взял ее, хотел уже уходить и тут опять совершенно ясно, четко и остро почувствовал тот же взгляд. Я резко обернулся. Старик читал конверт, далеко отставив его от себя и бесшумно шевеля губами. Бородатый, в желтой куртке, кончив списывать, захлопнул книжку, сунул ее в карман и повернулся к двери. Я посмотрел на него сбоку, подумал о том, кто это, но, так ничего и не вспомнив, засунул бандероль в портфель и пошел к двери. И только я сделал два шага, как бородатый сразу же снова повернулся ко мне спиной. Очень трудно определить в таких случаях, почему и как тебе что-то западает в голову, но мне вдруг отчетливо и очень твердо подумалось, что этот человек следит за каждым моим движением, безусловно, меня знает и именно поэтому не хочет со мной встречаться. Повторяю — это была не мимолетная мысль, это была совершенно твердая, хотя и мгновенно созревшая, уверенность, хотя я и сам не знаю, как и откуда она запала мне в голову. И вот опять-таки странность: мало ли людей, чья честь не без упрека, а имя не без пятна, стали избегать своих знакомых после войны и арестов. Самое, по-видимому, разумное в таких случаях — сделать вид, что

ты и сам не заметил негодяя, и пройти мимо. Так именно я всегда и поступал. Но на этот раз я прямо подошел к бородатому и встал с ним рядом; он сейчас же спокойно и очень естественно поднял руку в блестящей черной перчатке и стал тереть нос так, что почти все лицо оказалось закрытым. Так мы стояли плечом к плечу, смотрели на расписание и молчали. Это продолжалось, наверное, с полминуты, может быть, даже больше, потом бородатый, даже не поинтересовавшись, кто с ним стоит рядом, повернулся, спокойно обошел меня и направился к выходу. Но девушка в окошке, которая, очевидно, почему-то запомнила его, крикнула ему вдогонку:

— Месье Жослен, сегодня для вас кое-что есть!

И тут уж я чуть не схватил бородатого сзади за локоть. Жосленом звали одного из самых старых друзей моего отца. Я его уж не застал в живых — он погиб где-то на западе во время оккупации, — но имя его у нас произносилось чуть ли не каждый день: “Ах, что бы сказал Жослен, если бы он увидел это?”, “Ах, как жаль, что Жослен видел то-то, но не видел того-то...”

При крике из окошка бородатый замешкался, даже было приостановился на секунду, но сейчас же крикнул:

— Хорошо, хорошо, я сейчас найду! — и выскочил на улицу.

Я кинулся за ним и увидел его всего. Нет, это, конечно, был не Жослен, столь хорошо известный мне по портрету, но ощущение у меня осталось такое, как будто при мгновенной вспышке молнии я узнал что-то очень мне близкое, страшно знакомое, но давным-давно позабытое. Так иногда, попадая в чужой город, человек вдруг вспоминает, что этот дом, никогда им не виданный, эту улицу, совершенно незнакомую, этого неизвестного человека, идущего ему навстречу, деревья, мост — одним словом, все, все он когда-то уже видел во сне или в раннем детстве, а может быть, и того еще раньше, до своего рождения.

Вот так было и со мной.

Неизвестный шел, не оборачиваясь, крупно и уверенно шагая, высокий, стройный, прямой, твердо засунув обе руки в карман своей куртки. На перекрестке стояло такси, и он

поднял руку. Тут, видя, что он сейчас же уйдет и я никогда не узнаю и не вспомню, кто же он такой, я крикнул: “Месье, одну секундочку!” — и тогда он, уже не оглядываясь, прямо и открыто ринулся к машине.

Но в это время на шасси ее зажегся красный огонек — “занято”, и машина медленно тронулась с места. Теперь уйти от меня ему было уже невозможно — некуда. Мы стояли один против другого; третьим в этом отрезке улицы был только полицейский сержант в серой крылатке, стоящий на углу. Тогда, покоряясь необходимости, бородатый слегка дотронулся до шляпы и холодно спросил меня:

— Мы знакомы, месье?

И в то же мгновение я узнал его. Он сильно изменился, загорел, похудел, у него появилась густая, окладистая борода итальянского типа, очень смягчающая его длинное, хищное лицо с жестко выгнутыми линиями скул, всегда напоминавшими мне изгибы хирургического инструмента; мутноватые глаза, аккуратные, но мощные, как рога или крылья, брови, которые, хотя и срастались на переносице, но, как всегда, были аккуратно подбрены. Пока я говорил с ним и смотрел на него, он опять-таки очень прямо, все так же засунув руки в боковые карманы куртки, стоял передо мной и тоже смотрел мне в глаза. Для него это была безусловно очень решительная минута, и к его чести надо сказать, если он и был напуган или растерян, то и виду не показал. Я спросил его:

— Так вы стали уже Жосленом?

Мне хотелось, чтоб вопрос прозвучал резко и насмешливо, но голос мой прервался, дрогнул, и я спросил почти шепотом.

Он ответил спокойно и просто:

— Так мне удобнее получать почту до востребования.

Совершенно сбитый с толку, я молчал, а он сказал: — Но если вы имеете что-нибудь против этого, скажите.

Тут вдруг у меня мелькнула сумасшедшая мысль: вот он сейчас выхватит револьвер, выстрелит в меня в упор, да и юркнет в подъезд — ведь эти господа изучили все проходные

дворы города. Я невольно схватился за карман. Тогда он повернул голову и крикнул:

— Господин сержант, будьте любезны, подойдите-ка сюда! — и спокойно вынул из кармана обе руки.

Полицейский, маленький, худощавый человек с чаплинскими усиками и землистым, впалым лицом, поправил кобурку и пошел к нам.

— В чем дело тут у вас, господа? — спросил он подозрительно. — О чем спор?

Не меняя положения, бородатый двумя пальцами дотронулся до шляпы.

— Вот, представляю: мой старый знакомый, известный журналист Ганс Мезонье (полицейский хмуρο посмотрел на меня), он хотел бы проверить мою личность. Так пожалуйста. — Он полез в карман, вынул бумажник, раскрыл его, и я увидел целую кипу документов. — Пожалуйста, посмотрите, — повторил он ласково, подавая это все полицейскому.

Но тот не брал бумажника, а стоял и ждал объяснения. То, что у меня от волнения дрожат руки, а бородатый стоит совершенно спокойно, явно сбивало его с толку.

— Так что вам нужно от этого господина? — спросил он меня.

— Я хочу, — ответил я, — чтобы он объяснил, когда и почему он стал Жосленом.

— То есть, — усмехнулся бородатый, — я понимаю так, сержант: господин Мезонье именно и хочет объяснить вам, когда и почему я стал Жосленом.

Наступило секундное молчание. Сержант взял из рук бородатого бумажник и повернулся ко мне.

— А в чем все-таки дело? — спросил он недовольно. — Что вы имеете против этого господина?

— Да это же гестаповец, — сказал я. — Он был в нашем доме и убил моего отца.

Я еще и не договорил, как все мгновенно переменялось, полицейский словно вырос на голову. Четким, резким движением он сунул документы в карман и положил бородатому руку на плечо.

— Дойдемте до полицей-президиума, — сказал он коротко. — А ну, вперед!

И вытащил револьвер.

— Да нет, вы посмотрите сперва документы, — мягко и добродушно улыбнулся бородатый, не двигаясь с места. — Ведь вот же они у вас все в руках. Это одна минута, я никуда не денусь.

Полицейский вдруг быстрым, профессиональным движением дотронулся до карманов куртки бородатого, потом бегом провел по его брюкам; убедившись, что у него ничего нет, раскрыл бумажник и уткнулся в него, как в молитвенник.

— Как вы назвали этого гражданина? — спросил он, читая какой-то документ. — Жосленом?

— Его зовут Гарднер, — начал я. — Он...

Я остановился. Что тут говорить?! Какими словами мог бы я передать, как чернело обгорелое здание с выбитыми окнами и дверью, болтающейся на одной петле, как мертво хрустели под ногами перегоревшие стекла с неуловимым радужным отливом, какая была черная, сухая, жаркая, обгорелая проклятая земля в нашем саду и как страшно выглядели два трупа в нашем доме: один — отцовский, закрытый простыней, на диване, и другой — прямо на полу, маленький, скорченный, с разможенным черепом и разбросанными руками, в одной из которых так и застыл, так и прирос к ладони, пока его не выломали силой, крошечный лиловый браунинг. Все это только на секунду блеснуло перед глазами и ушло опять, оставляя тупую боль и тяжесть в душе. Оцепенело я смотрел на бородатого и чувствовал, что слова у меня не идут из горла.

В это время полицейский негромко воскликнул:

— Ну, так, правильно: “Иоганн Гарднер, уроженец города Дрездена, рождения тысяча девятисотого года”. Вот, — он протянул мне паспорт Гарднера. — Значит, таки не Жослен, а Гарднер?

Я был так сбит с толку, что ничего не ответил.

— Ну, так что же вам нужно от этого господина? — спросил, помедлив, полицейский и, не дождавшись моего ответа, снова полез в бумажник. — Вот тут есть постановление Министер-

ства юстиции о прекращении наказания Иоганна Гарднера ввиду того, что осужденный, — дальше он читал по бумаге, — “по состоянию здоровья неспособен к несению наказания и не будет способен к этому в дальнейшем”. А вот, — и он вытаскивал другую бумагу, — протокол медицинской комиссии, вот акт, ну и так далее. А по правде сказать, больным-то вы что-то совсем не выглядите! — сказал он вдруг зло и насмешливо. — Что же, интересно, у вас заболело? Сердце небось сдало? А? — Гарднер молчал. — У тех, кого вы расстреливали, тоже сдавало сердце, да тогда вы что-то внимания на это не обращали. Возьмите, пожалуйста, ваши документы. — Он сунул ему обратно бумажник и грубо спросил: — Так с сердцем, говорю, неполадки?

— Но вы же читали медицинское заключение, — вежливо улыбнулся Гарднер. Вообще он держался очень хорошо, не егозил, не забегал вперед, не улыбался, а просто стоял и давал объяснения.

— Медицинское заключение, — недоброжелательно сказал, как будто выругался, сержант и выхватил у него из рук бумажник. — Дайте-ка еще раз взгляну на это самое медицинское заключение. “Частые потери сознания, судорожные припадки эпилептического порядка, головные боли в области затылка и тошнота”. В области затылка! Это, наверное, при исполнении служебной обязанности вас и хватили по затылку?

Я даже вздрогнул. Так вот почему он оказался “неспособным” к несению наказания. Ганка спас его от петли — стрелял с десяти шагов в упор и все-таки не убил. Как бы не в силах наглядеться, я смотрел на каштановую бороду, серые спокойные глаза, а видел не это, а то, как пятнадцать лет назад его, обвисшего и окровавленного, выносила из кабинета топочущая, до смерти перепуганная охрана, а прямо перед столом, на ковре, в черной луже крови лежал маленький человек с разmozженным черепом и браунингом в далеко откинута, твердом и злобном кулачке.

— Поэтому вас и освободили? — спросил я ошалело. Полицейский вдруг внимательно посмотрел на меня, быстро сунул документы Гарднеру и приказал:

— Идите!

Гестаповец положил бумажник в карман и сказал нам обоим:

— Я сейчас зайду на почту, а вы тем временем подумайте. Я сейчас выйду.

И тут мной овладела такая бессильная злоба, так меня затрясло, что я не помню, как подскочил к нему и схватил его за воротник. Еще секунда — и я ему выбил бы челюсть, но он только слегка отвел голову и мягко, но сильно перехватил мою руку на лету.

— Какой же вы невыдержанный! — сказал он почти добродушно. — А ведь журналист. Разве кулаком что-нибудь докажешь? Почитайте-ка собственные фельетоны!

— Ну, вы лишнего-то тоже не болтайте! — обрезал его полицейский. — Какой еще кулак! Что никто вас не трогал, тому я свидетель.

— Да что вы, что вы, сержант! — любезно развел руками Гарднер. — Разве я заявляю претензии? До свидания! — Он пошел и остановился. — Но только два слова на прощание вам, дорогой господин Мезонье. Вы же юрист — вот я все время с большим удовольствием читаю ваши интереснейшие статьи, — так неужели же вам непонятно, что если меня десять лет тому назад судили и осудили, то это только потому, что какие-то очень уважаемые круги сочли, что им будет спокойнее, если я, вместо того чтобы гулять по Парижу и Берлину, буду сидеть за решеткой. И если меня освободили, то опять-таки потому, что эти же самые в высшей степени авторитетные и высокочтимые круги вдруг решили, что теперь для их безопасности и спокойствия нужно, чтоб я именно гулял по Берлину и Парижу, а не сидел за решеткой. Вот и все! До свидания!

Что мне оставалось делать? Он все понимал и знал. Знал, где я был, знал, что я сейчас делаю, кем работаю, я же про него не знал ровно ничего, даже что он такой же равноправный гражданин, как и я, и того не знал. Вот он повернулся к нам спиной и пошел к зданию почты, за письмами, которые получает на имя убитого им Жослена. Конечно, теперь он уже не постесняется их взять. Мы, я и сержант, как бы

легализовали его. Мы связались с ним, чтобы его погубить, а он сразу же нам показал, что мы и гроша медного не стоим перед ним, так чего ж ему с нами стесняться?

Он ушел, и с минуту мы стояли оба молча.

— Вы уж очень расстроились из-за него, — сказал сержант, — вот даже побледнели. Значит, действительно насолил он вам, мерзавец.

Я промолчал.

— Но я вас понимаю, — продолжал он, понижая голос. — Я сам был в плену и знаю, какой там у них мед. Говорите, следователь гестапо?

— Нет, — сказал я, — начальник.

— Ай-ай-ай! — сержант пощелкал языком. — У него и взгляд-то волчий. И, значит, он и допрашивал кого-нибудь из ваших?

Я опять промолчал.

— Да, — сказал полицейский, смотря на дверь почты, — и вот смотрите, опять в своем полном праве, опять при деньгах и положении. — Он вздохнул. — Что делается, что делается на свете, и не поймешь даже что! Болен! — усмехнулся он. — Да таких больных бы...

Из почтовой конторы вышел Гарднер и, даже не взглянув на нас, ровным, неторопливым шагом пошел по улице. Дошел до перекрестка, поднял руку, остановил такси и сел в него. Полицейский смотрел ему вслед, пока машина не скрылась за поворотом, и вдруг повернулся ко мне.

— Слушайте, — крикнул он в страшном волнении, — а что если он нас обманул? Бумаги-то, может, поддельные, а? В одном кармане документ на Гарднера, а в другом — на Жослена... Постойте-ка, я... — И он сделал движение броситься к углу улицы, полицейскому телефону.

— Бросьте, — сказал я, удерживая его за руку. — Бросьте! Будьте спокойны, у него все в полном порядке. И фамилия, и служба. Это у нас все время что-то не так, а у него полный порядок.

Ночью этого же дня я сидел в своем кабинете и думал. Мне крепко запаала в голову одна мысль, и я никак не мог отка-

заться от нее, как вдруг зазвонил телефон. Сняв трубку, я узнал голос моего шефа:

— Алло, Ганс! Что вы сейчас делаете?

То, что шеф позвонил мне так поздно, в двенадцать ночи, меня не особенно удивило. Старик любил меня и звонил мне в любые часы, как только ему была нужна справка. Но именно этот звонок меня насторожил. Ведь не далее как четыре часа назад мы расстались в редакции. Его куда-то вызвали, и я даже помню слова, которыми мы обменялись на прощание. Он спросил меня, готова ли у меня статья о прениях в парламенте. Дело шло о законе XIV века, который карал лиц, заглядывающих с улицы в чужие окна. Парень, которому впервые за четыреста лет предъявили такое странное обвинение, был осужден условно на две недели заключения, тем бы дело и кончилось, но левые газеты заговорили о судьях в пудренных париках, цепляющихся за порядки средневековья, и дело было перенесено во вторую инстанцию, а потом и в третью, то есть в Верховный суд. Наша газета тоже поместила обширную статью о законах арбалета и лука, действующих в век атомных двигателей. Тогда другая сторона, крайне правая, заметила: «Если вы так против всего старого, зачем же тогда цепляться за средневековую формулу: «Мой дом — моя крепость»? Почему и ее не сдать в архив как безнадежно устарелую и не отвечающую конкретным условиям современности? А то ведь повелось так: как обыск в редакции левой газеты или ночной арест, так поднимается крик на весь свет: «Помилуйте, нарушено право убежища!» Будьте уж логичны, господа ниспровергатели!» Мы ответили, и заварилась каша. Вот обо всем этом я и должен был написать ученую статью, сославшись на все узаконения, прецеденты и судебную практику. Именно об этом мы и говорили с шефом при последней встрече в редакции. Он спросил тогда: готова ли статья, и я ответил, что будет готова к утру. Он мне сказал: «Ну, я надеюсь на вас, Ганс. Тряхните их хорошенько, так, чтобы у них вся пудра с париков посыпалась». Так мы и разошлись. И вот ночью он звонит мне опять и спрашивает не о том, готова ли заказанная